



## Н. Н. СУХАНОВ

### Записки о революции

<Фрагменты>

<...>

Из новых лиц бывал, но не часто Троцкий<sup>1</sup>. Он вошел в группу «междурайонцев» <...> автономных большевиков; вместе с Луначарским, еще совсем не появившимся в Исполнительном комитете, Троцкий уже начал широко митинговать и находился в поисках литературного органа. В Исполнительном комитете на сером, тоскливом фоне он не вызвал большого к себе интереса и еще меньше сам обнаруживал интереса к центральному советскому учреждению. У меня остались в памяти только небольшие препирательства Троцкого с лидерами большинства. Развернуться было положительно негде...

Я лично избегал тогда знакомства с Троцким, имея на то совершенно специфические причины: Троцкий имел много оснований стать в более или менее близкое отношение к «Новой жизни»<sup>2</sup>, и сам он рассчитывал на это. Наше знакомство с ним предполагало немедленные разговоры с ним на эту тему. Между тем сотрудничество Троцкого могло оказаться совсем не ко двору. Про него, не примкнувшего к большевистской партии, уже ходили неопределенные слухи, что будто бы он «хуже Ленина». Раньше чем разговаривать о «Новой жизни», надо было приглядеться к этой новой звезде...

<...>

Я диву дался, когда на конференции «междурайонцев»<sup>3</sup> дело дошло до партийной программы: Троцкий повторял Ленина. Он взял за основу ленинский проект и вносил в него некоторые коррективы. Но опять-таки все внимание его было устремлено

на формы диктатуры пролетариата и примыкающих к нему слоев. И докладчик, и многочисленные ораторы в возникших прениях при молчаливых слушателях, рабочих и солдатах, игнорировали экономическую программу и не уделили ее разработке никакого труда. Непонятно! Троцкий, Луначарский, Урицкий, правда, неэкономисты. Но они образованные, передовые в Европе социалисты. Почему же им не ясно, что социализм есть прежде всего *экономическая* система и что без строго разработанной программы экономических предприятий ничего не может выйти из диктатуры пролетариата? Именно с их точки зрения партийная программа необходимо должна была бы включать в себя детальную, чисто деловую, вполне конкретную скалу экономических преобразований. Ибо их программа была программой ликвидации капитализма.

Я вспомнил. Несколько дней тому назад я, из любопытства, пошел в зал Морского корпуса, где Троцкий читал реферат об итогах Всероссийского советского съезда. Зал был переполнен тысячами рабочих и солдат. Успех оратора, говорившего часа три, был огромный. Но я испытывал удручающее впечатление. В докладе не было ничего, кроме мелкой демагогии и максималистских призывов — без малейших пропагандистских попыток наметить реальную программу. Главным трюком был влагаемый в уста советских лидеров приказ: «Подождите до Учредительного собрания!» Троцкий повторял это, перечисляя насущные нужды революции рабочих, солдат и крестьян, и вызывал восторг аудитории.

<...>

Поднялся неистовый шум<sup>4</sup>. Толпа, потрясая оружием, стала напирать. Группа лиц старалась оттеснить Чернова внутрь дворца. Но дюжие руки схватили его и усадили в открытый автомобиль, стоявший у самых ступеней с правой стороны портика. Чернова объявили арестованным в качестве заложника...

Немедленно какая-то группа рабочих бросилась сообщить обо всем этом ЦИК, и, ворвавшись в Белый зал, она произвела там панику криками:

— Товарищ Чернов арестован толпой! Его сейчас растерзают! Спасайте скорее! Выходите все на улицу!

Чхеидзе, с трудом водворяя порядок, предложил Каменеву, Мартову, Луначарскому и Троцкому поспешить на выручку Чернова. Где были прочие, не знаю. Но Троцкий подоспел вовремя.

Я с Раскольниковым остановился на верхней ступени у правого края портика, когда Троцкий, в двух шагах подо мною, взбирался на передок автомобиля. Насколько хватало глаз — бушевала толпа. Группа матросов с довольно зверскими лицами особенно неистовствовала вокруг автомобиля. На заднем его сиденье помещался Чернов, видимо совершенно утерявший «присутствие духа».

Троцкого знал, и ему, казалось бы, верил весь Кронштадт. Но Троцкий начал речь, а толпа не унималась. Если бы поблизости сейчас грянул провокационный выстрел, могло бы произойти грандиозное побоище, и всех нас, включая, пожалуй, и Троцкого, могли бы разорвать в клочки. Едва-едва Троцкий, взволнованный и не находивший слов в дикой обстановке, заставил слушать себя ближайшие ряды. Но что говорил он!

— Вы поспешили сюда, красные кронштадтцы, лишь только услышали о том, что революции грозит опасность! Красный Кронштадт снова показал себя как передовой боец за дело пролетариата. Да здравствует красный Кронштадт, слава и гордость революции!..

Но Троцкого все же слушали недружелюбно. Когда он попытался перейти собственно к Чернову, окружавшие автомобиль ряды снова забесновались.

— Вы пришли объявить свою волю и показать Совету, что рабочий класс больше не хочет видеть у власти буржуазию. Но зачем мешать своему собственному делу, зачем затемнять и путать свои позиции мелкими насилиями над отдельными случайными людьми? Отдельные люди не стоят вашего внимания... Каждый из вас доказал свою преданность революции. Каждый из вас готов сложить за нее голову. Я это знаю... Дай мне руку, товарищ!.. Дай руку, брат мой!..

Троцкий протягивал руку вниз, к матросу, особенно буйно выражавшему свой протест. Но тот решительно отказывался ответить тем же и отводил в сторону свою руку, свободную от винтовки. Если это были чуждые революции люди или прямые провокаторы, то для них Троцкий был тем же, что и Чернов или значительно хуже: они могли только ждать момента, чтобы расправиться вместе с адвокатом и подзащитным. Но я думаю, что это были рядовые кронштадтские матросы, воспринявшие по своему разумению большевистские идеи. И мне казалось, что матрос, не раз слышавший Троцкого в Кронштадте, сейчас действительно испытывает впечатление *измены* Троцкого: он помнит его прежние речи, и он

растерялся, не будучи в состоянии свести концы с концами... Отпустить Чернова? Но что же надо делать? Зачем его звали?

Не зная, что делать, кронштадтцы отпустили Чернова. Троцкий взял его за руку и спешно увел внутрь дворца. Чернов в бессилии опустился на свой стул в президиуме...

<...>

А насчет Троцкого кстати замечу<sup>5</sup>. Тогда, в сентябре 1917 года, он выразил резко отрицательное отношение к самосудам как к явлению «глубоко вредному» с точки зрения революционного самосознания. Впоследствии же, в приватном едко-полюемическом разговоре со мной, среди издевательств над моими «либеральными» взглядами, он заявил примерно так:

— Вот когда после корниловщины разъяренные солдаты взялись крушить направо и налево контрреволюционный офицерский сброд, вот это было проявление настоящего революционизма и классового сознания!

Я только отмахивался от этого настоящего революционизма. Для меня в 1920 году, как и в 1917-м, стихия народной паники и мести не имела ничего общего ни с революцией, ни с каким-либо самосознанием. Но Троцкий? Уклонился ли он от своей собственной истины в 1917 году, будучи тогда в меньшинстве и говоря публично? Или истина уклонилась от Троцкого в 1920 году, когда Троцкий был правителем, когда он уже нес на своих плечах кровавую полосу террора и бесплодно искал оправдания своим былым ошибкам?... О, тут сомнений быть не может! В 1917 году Троцкий не кривил душой и возвещал бесспорную истину. Тогда Троцкий и его товарищи были бесспорно блестящими, замечательными революционерами, которые и не подозревали, в каких беспомощных и сомнительных «государственных людей» предстоит им превратиться...

<...>

Иначе поступил Троцкий, выступавший от имени большевиков<sup>6</sup>. Он распылил свою речь, ходя вокруг да около, ухватываясь за конкретные факты, штришки, иллюстрации и лишь временами возвращаясь к центральному пункту. Но все же в рамке повседневной публицистики тут предстала не только искомая боевая идея момента, но, можно сказать, и общая философия истории. Это было, несомненно, одно из самых блестящих выступлений этого удивительного оратора. И я никак не могу подавить в себе желание

украсить страницы моей книги почти полным воспроизведением этой великолепной речи. Если найдет мой труд читателей в грядущем — как, скажем, находит их доселе невысокого полета книга Ламартина, — то пусть судят по этой странице об ораторском искусстве и политической мысли наших дней. И пусть делают заключение: полтора ста лет прожило человечество недаром, и герои нашей революции оттесняют далеко на задний план прославленных деятелей эпохи 89-го года.

Зал Александринского театра встрепенулся при самом имени Троцкого. Официальное выступление большевистской партии в связи с данным ее представителем обещало наиболее яркий момент за весь съезд. На мой взгляд, эти предвкушения оправдались. Но, конечно, кооператоры и «мамелюки» поспешили в сердцах своих вытеснить любопытство злобой и готовностью к отпору.

Троцкий со своей стороны хорошо готовился. Стоя на сцене в нескольких шагах позади него, я видел на пюпитре основательно исписанный лист, с подчеркнутыми местами, с отметками и стрелками синим карандашом... Говорил Троцкий без всякого пафоса (на высоту которого он, по нужде, умеет подниматься!), без малейших ораторских поз и ухищрений — совсем просто. На этот раз он разговаривал с аудиторией: иногда выходя к ней шага на два и снова кладя локоть на пюпитр. Металлическая четкость речи, законченность фразы, свойственные Троцкому, нехарактерны для этого выступления и, пожалуй, даже не в стиле его.

— Здесь, — тихонько начинает он, — здесь перед вами, товарищи и граждане, выступали министры-социалисты, входившие в состав двух коалиционных министерств. Перед «полномочными» органами министрам вообще полагается выступать с *отчетами*. Наши министры вместо отчетов пожелали дать нам советы. За ваши советы мы приносим вам благодарность, но *отчета* мы требуем от вас... Не совета, а отчета, граждане министры! — тихонько повторяет оратор, постукивая по пюпитру.

Отлично! Сколько раз — без числа — я вспоминал эти слова потом, когда большевистские министры решали судьбы миллионов, распоряжались всем достоянием государства, измышляли и проводили свои нелепые эксперименты из своих первобытных, но недостижимых канцелярий, работая втихомолку за частоколом штыков, без признака контроля, как в Средние века, как в своей вотчине, не отдавая народу ничего похожего на отчеты и угощая

вместо них митинговыми речами своих приближенных, созданных на парадные заседания! Не знаю, вспоминал ли когда-нибудь сам Троцкий об этих своих словах на Демократическом совещании. Память у Троцкого превосходная... Но оставим сейчас все это. С Троцким и его друзьями-правителями мы еще успеем познакомиться вплотную. Сейчас послушаем великого революционера и сказочного героя, двигавшего сотнями тысяч людей.

— Мы слышали, — продолжал он, — советы министра Скобелева, но он ни слова не сказал о том, как он осуществлял свою программу с Коноваловым и Пальчинским. А ведь он обещал сто процентов! Мы хотели бы знать, на каком проценте остановился он в своей работе с Пальчинским и Коноваловым... Министр Авксентьев, дававший здесь советы вместо отчетов, так же как и в ЦИК, в самый трагический момент, когда еще не была ликвидирована авантюра Корнилова, вместо того чтобы рассказать, как Савинков вызывал третий корпус, *советовал* оказать доверие и поддержку «пятерке», в которую тогда намечались Савинков — полукорниловец, Маклаков — полусавинковец, Керенский, которого вы знаете, Кишкин и Терещенко, которых вы также знаете. Даже Пешехонов прочел нечто вроде стихотворения в прозе о преимуществах коалиции. Он нам рассказал о том, что министры-кадеты не занимались саботажем, а сидели и выжидали и говорили: «А вот посмотрим, как вы, социалисты, провалитесь». Ну а что же такое саботаж?.. Самая интересная речь была, пожалуй, речь министра Зарудного, который, помимо нескольких советов, рассказал нам, что было в правительстве. Он поучительно резюмировал для нас: *я тогда не понимал и теперь не понимаю, что там происходит...* Я должен сказать, что другой министр-кадет подвел итог этому опыту в более решительных политических терминах. Я говорю о Кокошкине. Он мотивировал свой уход тем, что, после того как Временное правительство предоставило Керенскому чрезвычайные полномочия, имеющие, по существу, диктаторский характер, он считает свое пребывание в составе Временного правительства, куда входил как политический деятель, излишним; быть же в роли простого исполнителя приказаний министра-председателя он не считает для себя возможным. Это — язык политического и человеческого достоинства... Если у вас и много разногласий, то я все же спрашиваю вас: есть ли у вас разногласия относительно того правительства, которое сейчас правит именем России?

Я здесь не слышал ни одного оратора, который бы взял на себя малозавидную честь защищать «пятерку», директорию или ее председателя...

«Мамелюки» умозаклучили, что раз никто из их лагеря не защищал Керенского, то этого достаточно, чтобы тут устроить Троцкому первый скандал. Среди аплодисментов левой поднялся шум, послышались возгласы: «Довольно!», «Вон!», «Да здравствует Керенский!» Оратору не дают продолжать. Троцкий ждет, пока стихнет, как будто все это его не касается.

— Я вам скажу, товарищи и граждане, что та речь, которую произнес... (однако о Керенском говорить не дают и снова кричат: «Вон!», «Довольно!»)... в той речи, которую Керенский произнес здесь перед вами, он о смертной казни сказал: «Вы меня проклянете, если я подпишу хоть один смертный приговор». Я спрашиваю: если смертная казнь была необходима, то как он решается сказать, что он не сделает из нее употребления? А если он считает возможным обязаться перед демократией не применять смертную казнь, то я говорю, что он превращает ее восстановление в акт легкомыслия, стоящий в пределах преступности.

— На этом маленьком примере, — продолжает Троцкий, — где безответственное лицо превращает смертную казнь в свое политическое орудие, которое пускается в ход или временно сдается в арсенал, сказывается вся униженность Российской республики, которая не имеет своего полномочного представительства и ответственной перед ним власти. Мы все, расходящиеся по многим вопросам, сойдемся в том, что недостойно великого народа иметь власть, которая концентрируется в одном лице, безответственном перед собственным революционным народом... Ведь если здесь многие ораторы говорили о том, как трудно в настоящую минуту бремя власти, и предупреждали молодую русскую демократию от того, чтобы это бремя возложить на свои коллективные многомиллионные плечи, я спрашиваю вас, что же сказать об одном лице, которое во всяком случае не выявило ничем ни гениальных талантов полководца, ни гениальных талантов законодателя...

Снова поднимается неистовый шум, снова крики, протесты. Троцкий стоит молча несколько минут. Молчит некоторое время и Чхеидзе, но наконец просит собрание успокоиться... Оратор продолжает:

— Я очень жалею, что та точка зрения, которая сейчас находится в зале такое бурное выражение, не нашла своего политического выразителя и членораздельного выражения на этой трибуне. Ни один оратор не вышел сюда и не сказал нам: «Зачем вы спорите о прошлой коалиции, зачем задумываетесь о будущей. У нас есть Керенский, и этого довольно»... Именно наша партия никогда не была склонна возлагать ответственность за этот режим на злую волю того или другого лица. Вина за создавшееся положение падает на партии советского большинства, искусственно создавшие тот режим, где наиболее ответственное лицо, независимо от собственной воли, становится математической точкой приложения бонапартизма (шум, крики: «Ложь!», «Довольно!», «Вон!»...). В эпоху революции, когда массы, впервые осознав себя как классы, начинают стучаться во все твердыни собственности, в такую эпоху классовая борьба получает выражение самое страстное и напряженное. Объектом этой борьбы является государственная власть, как тот аппарат, при помощи которого можно либо отстаивать собственность, либо произвести глубокие социальные изменения. В такую эпоху коалиционная власть есть либо высшая историческая бессмыслица, которая не может удержаться, либо высшее лукавство имущих классов для того, чтобы обезглавить народные массы, чтобы лучших, наиболее авторитетных людей взять в политический капкан, потом предоставить массы самим себе и утопить их в собственной крови...

Повторение опыта коалиции теперь, после того как она завершила свой цикл, не будет уже только повторением старого опыта... Здесь говорят, правда, что нельзя обвинять целую партию в том, что она была соучастницей корниловского мятежа. Говорят, чтобы мы не повторяли старых ошибок, совершенных в июльские дни по отношению к большевикам, и не возлагали ответственности на всю партию. Но в этом сравнении есть маленький недочет: когда обвиняли большевиков в июльском восстании, то речь шла не о том, чтобы пригласить их в министерство, а о том, чтобы пригласить их в «Кресты». И тут вот есть некоторая разница: если вы желаете тащить кадетов в тюрьму за корниловское движение, не делайте этого оптом, а каждого отдельного кадета исследуйте со всех сторон. Но когда вы будете приглашать в министерство ту или другую партию — возьмем для парадокса, только для парадокса, партию большевиков, — то если бы вам понадобилось

министерство, которое имело бы своей задачей разоружение пролетариата, вывод революционного гарнизона, приглашение 3-го корпуса, то я скажу, что большевики для этого не годятся... Если бы речь шла о введении кадетов в министерство, то решающим для нас является не то, что тот или иной кадет находился в закулисном соглашении с Корниловым, а то, что в тот момент, когда сердца рабочих и солдат учащенно бились под закинутой над революцией петлей, не было ни одной буржуазной газеты, которая бы отражала наш страх, или нашу ненависть, или нашу готовность к войне. А ведь буржуазная печать отражает на всех языках — лжи, мысли, чувства и желания буржуазных классов. Вот почему у нас нет партнеров для коалиции. Чернов говорит: подождем! Но, во-первых, вопрос о власти стоит сегодня, а во-вторых, там, где выступает пролетариат как самостоятельная сила, там каждый его шаг не усиливает, а убивает буржуазную демократию. Вся политическая карьера социалистической партии и пролетариата, как главного ее носителя, в том и состоит, что она вырывает из-под ног мелкобуржуазной демократии и ее идеологии все более широкие рабочие массы, отбрасывая ее вместе с тем в лагерь буржуазного общества. И поэтому надежда на то, что в эпоху высокоразвитого мирового капитала, когда классовые страсти напряжены до высшей степени и когда пролетариат русский, несмотря на свою молодость, является классом высшей концентрации революционной энергии, ожидать возрождения буржуазной демократии — значит создавать самую великую утопию, которая когда-либо могла быть создана. Не случайно же наши социалистические партии заняли то самое место, которое во французскую революцию и во всех буржуазных обществах на заре их юности занимало то, что вы называете честной буржуазной демократией. Наши социалистические партии заняли это самое место и теперь вас пугают, и вы пугаетесь: так как вы называетесь социалистами, то вы не имеете права выполнять ту работу, которую выполняла буржуазная демократия, честная, смелая, которая не носила высокого имени социалистов и которая поэтому не боялась самой себя.

Троцкий кончил. Немало высказанных здесь истин он впоследствии хотел бы видеть только в воображении своих врагов... С другой стороны, не все высказанное им может претендовать на роль непреложной истины — в историко-философской части.

Но как отражение взглядов Троцкого все это, во всяком случае, имеет чрезвычайный интерес.

<...><sup>7</sup>

Председателем стал Троцкий, при появлении которого разразился ураган рукоплесканий... Все изменилось в Совете! С апрельских дней он шел против революции и был опорой буржуазии. Целых полгода служил он плотиной против народного движения и гнева. Это были преторианцы «звездной палаты», отданные в распоряжение Керенского и Терещенки. И во главе их стояла сама «звездная палата»... Теперь это вновь была революционная армия, неотделимая от петербургских народных масс. Это была теперь гвардия Троцкого, готовая по его знаку штурмовать коалицию, Зимний и все твердыни буржуазии. Спаянный вновь с массами, Совет вернул себе свои огромные силы.

Но конъюнктура была уже совсем не та, что прежде. Совет Троцкого не выступал как открытая государственная сила, ведущая революцию. Он не действовал методами оппозиции, давления и «контакта». Он был скрытой, потенциальной революционной силой, собирающей элементы для всеобщего взрыва... Эта скрытость и потенциальность затемняла глаза и жалким, бутафорским «правителям», и обывателю, и деятелям старого советского большинства. Но дело от этого не менялось. И успех будущего взрыва был обеспечен. Ничто не могло противостоять новой сокрушающей силе Совета. Вопрос заключался только в том, куда же поведет его Троцкий? Чем еще богат он, кроме сокрушения?.. Ну, проживем — увидим.

А сейчас в своей первой председательской речи Троцкий напомнил о том, что, собственно, не он занял место Чхеидзе, а, наоборот, Чхеидзе занимал место Троцкого: в революцию 1905 года председателем Петербургского Совета был Троцкий; но сейчас перспективы не те; новому президиуму приходится работать при новом подъеме революции, который приведет к победе...

Впрочем, Троцкий прибавил тут еще несколько слов, искренне веря, что ему со временем не придется презирать эти слова и сочинять теории для оправдания противоположного. Он сказал:

— Мы все люди партий, и не раз нам придется скрестить оружие. Но мы будем руководить работами Петербургского Совета в духе права и полной свободы всех фракций, и рука президиума никогда не будет рукою подавления меньшинства.

Боже, какие земско-либеральные взгляды! Какая насмешка над самим собой! Но дело-то в том, что примерно через три года, в час, когда мы вместе с Троцким предавались воспоминаниям, Троцкий, задумавшись на минуту, мечтательно воскликнул:

— Хорошее было время!..

Да, чудесное! Может быть, ни одна душа на свете, не исключая его самого, никогда не вспомнит с *такими* чувствами о времени правления Троцкого...

<...>

Лично Троцкий, отрываясь от работы в революционном штабе, летал с Обуховского на Трубочный, с Путиловского на Балтийский, из манежа в казармы и, казалось, говорил одновременно во всех местах. Его лично знал и слышал каждый петербургский рабочий и солдат. Его влияние — и в массах, и в штабе — было подавляющим. Он был центральной фигурой этих дней и главным героем этой замечательной страницы истории.

<...>

По коридору навстречу мне летел на сцену Троцкий. Он злобно покосился на меня и пролетел мимо, не поклонившись. Это было в первый раз... Дипломатические отношения были прерваны надолго.

Настроение трех тысяч с лишним людей, заполнивших зал, было определено приподнятое; все молча чего-то ждали. Публика была, конечно, рабочая и солдатская по преимуществу. Но было видно немало типично мещанских фигур, мужских и женских...

Как будто бы овация Троцкому прекратилась раньше времени — от любопытства и нетерпения: что он скажет?.. Троцкий немедленно начал разогревать атмосферу — с его искусством и блеском. Помню, он долго и с чрезвычайной силой рисовал трудную (своей простотой) картину окопной страды. У меня мелькали мысли о неизбежном несоответствии частей в этом ораторском целом. Но Троцкий знал, что делал. Вся суть была в настроении. Политические выводы давно известны. Их можно и скомкать — лишь бы сделать с достаточной рельефностью.

Троцкий их сделал... с достаточной рельефностью. Советская власть не только призвана уничтожить окопную страду. Она даст землю и уврачуует внутреннюю разруху. Снова были повторены рецепты против голода: солдат, матрос и работница, которые реквизируют хлеб у имущих и бесплатно отправят в город и на фронт...

Но Троцкий пошел и дальше в решительный День Петербургского Совета:

— Советская власть отдаст все, что есть в стране, бедноте и окопникам. У тебя, буржуй, две шубы — отдай одну солдату, которому холодно в окопах. У тебя есть теплые сапоги? Посиди дома. Твои сапоги нужны рабочему...

Это были очень хорошие и справедливые мысли. Они не могли не возбуждать энтузиазма толпы, которую воспитала царская нагайка... Как бы то ни было, я удостоверяю в качестве непосредственного свидетеля, что говорилось именно так в этот последний день.

Вокруг меня было настроение, близкое к экстазу. Казалось, толпа запоет сейчас без всякого сговора и указания какой-нибудь религиозный гимн... Троцкий формулировал какую-то общую краткую резолюцию или провозгласил какую-то общую формулу, вроде того, что «будем стоять за рабоче-крестьянское дело до последней капли крови».

— Кто — за?.. — Тысячная толпа, как один человек, подняла руки. Я видел поднятые руки и горевшие глаза мужчин, женщин, подростков, рабочих, солдат, мужиков и типично мещанских фигур. Были ли они в душевном порыве? Видели ли они сквозь приподнятую завесу уголок какой-то «праведной земли», по которой они томились? Или были они проникнуты сознанием политического момента под влиянием политической агитации социалиста?.. Не спрашивайте! Принимайте так, как было...

Троцкий продолжал говорить. Несметная толпа продолжала держать поднятые руки. Троцкий чеканил слова:

— Это ваше голосование пусть будет вашей клятвой — всеми силами, любыми жертвами поддержать Совет, взявший на себя великое бремя довести до конца победу революции и дать землю, хлеб и мир!

Несметная толпа держала руки. Она согласна. Она клянется... Опять-таки принимайте так, как было: я с необыкновенно тяжелым чувством смотрел на эту поистине величественную картину.

Троцкий кончил. На трибуну вышел кто-то другой. Но ждать и смотреть больше было нечего.

<...>

С ответом Мартову выступает Троцкий, который стоит рядом с ним в толпе, переполняющей эстраду. У Троцкого в руках готовая

резолуция. Сейчас, после исхода правых, его позиция настолько же прочна, насколько слаба позиция Мартова<sup>8</sup>.

— Восстание народных масс, — чеканит Троцкий, — не нуждается в оправдании. То, что произошло, это восстание, а не заговор. Мы закаляли революционную энергию петербургских рабочих и солдат. Мы открыто ковали волю масс на восстание, а не на заговор... Народные массы шли под нашим знаменем, и наше восстание победило. И теперь нам предлагают: откажитесь от своей победы, идите на уступки, заключите соглашение. С кем? Я спрашиваю: с кем мы должны заключить соглашение? С теми жалкими кучками, которые ушли отсюда или которые делают это предложение. Но ведь мы видели их целиком. Больше за ними нет никого в России. С ними должны заключить соглашение как равноправные стороны миллионы рабочих и крестьян, представленных на этом съезде, которых они не первый и не в последний раз готовы променять на милость буржуазии. Нет, тут соглашение не годится. Тем, кто отсюда ушел и кто выступает с предложениями, мы должны сказать: вы — жалкие единицы, вы — банкроты, ваша роль сыграна и отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть: в сорную корзину истории...

— Тогда мы уходим! — крикнул с трибуны Мартов среди бурных рукоплесканий по адресу Троцкого.

Нет, позвольте, товарищ Мартов!.. Речь Троцкого, конечно, была ярким и недвусмысленным ответом. Но гнев на противника и состояние аффекта Мартова еще не обязывают фракцию к решающему и роковому акту... Мартов в гневе и аффекте стал пробираться к выходу с эстрады. А я стал в экстренном порядке созывать на совещание свою фракцию, рассеянную по всему залу.

В это время Троцкий читает резкую резолюцию против «соглашателей» и против их «жалкой и преступной попытки сорвать Всероссийский съезд»; «это не ослабляет, а усиливает Советы, очищая их от примесей контрреволюции»...

<...>

